Волшебный саксофон Ирины Иваськовой

Настоящая проза – это поэзия. Тут не надо ничего выдумывать, оно и так есть. Существует девочка Норма Джин, которая может подлететь над взрослой жизнью, существует девушка Вера, влюбленная в море и собирающаяся за него замуж. Лишь потому, что море велико, бездонно и разнообразно. Мучается от разных слов юноша Родион, которого терзают слова. Просто слова его мучают. Иные больше, иные меньше.

А вот другая женщина из рассказа-стихотворения «Дура». У влюбленной дуры тело весит на 22 грамма больше. А вот «он ушел», и «дура» полегчала на эти же граммы. Знать, столько душа тянет.

Поэт доподлинно знает, что, умирая, люди попадают в некий накопитель, похожий на вокзальчик, где пассажиры, прежде чем предстать, поговорят друг с другом. Насладятся последними мгновениями земной жизни.

Вергилий, Данте, Гомер, «Тугие паруса».

Есть и простые мечты о счастье, заключенном в белоснежном платье. В чудесном рассказике «Белка» это и происходит. Здесь главную героиню награждает ее «больная на голову» тетка – она-то за старания этой самой Белки и выносит ей роскошь. Мечту.

Герои Ирины Иваськовой все немного тронутые, с надкушенным сознанием. Но кто говорит, что мы нормальные все. У каждого свой «бзик». И нормальны ли нормальные.

Но не от этого ли у нас, читающих прозу из сборника «Бумажный саксофон» случается перляж, шипение и легкое пощипывание в душе. И легкое же опьянение.

Нет, саксофон у Ирины Иваськовой вовсе не бумажный. Он живой, как у того саксофониста в повести, придумавшего осыпать посетителей бара серебряной пылью. Его голос с разными вариациями передается от героя к герою.

В последнее год-два я с таким интересом читал лишь короткие рассказы Габриеля Маркеса, тяжелую прозу Веры Галактионовой и повесть Ильи Бояшова «Кокон». Это проза, благодаря которой читатель наполняется поэтическим чувством, каким вероятно наполнялись люди 19 века, читая Афанасия Фета.

Как интересно написала о московском, а, может, и хуторском быте Ирина Иваськова в поэме «Шурочка», о трепете любви, в котором мешается грусть, радость, ирония, эгоизм с альтруизмом. И Норма Джин, и девушка Вера, и Родион, которого разорвало слово «Я», и семидесятилетняя Снегурочка, и Белка и Ирина Иваськова – все эти живые люди – настоящие дуры, потому что они весят на 22 грамма больше нежели остальные действующие лица человеческой комедии.

Играй, играй, Ира, на клавишах своего серебряного саксофона. Энтер – строка-еще энтер-строка...

Николай Ивеншев

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
Федор Тютчев

...И мне тогда в голове представление сделалось: будто смотрю я с высоты на город, а кругом ночь, только огни внизу горят желтые. А мимо огней прямо из домов будто нитки голубые вверх тянутся. Тонкие такие, дрожащие, светлые ниточки, как молнии электрические. А я на них смотрю и понимаю, что это молитвы человечьи светятся, улетают из ночных домовна небо, а там уж, сами понимаете, по назначению. И мне так легко стало тогда, ну, думаю, не пропадем – ниток-то много, усердное такое плетение...

– Записала, Шура? – спросила Мила и откашлялась. – Много вышло сегодня?

– Все записала, теть Мил. Две страницы. Я побегу, ладно? Мне к подруге надо.

– Ну беги, беги. На обратке хлеба купишь. И поздно не приходи, нечего шляться, грязь такая. Давай сюда тетрадь.

Мила бережно взяла протянутую Шурой толстую тетрадку и спрятала ее под подушку – огромную, твердокаменную, в блеклых ситцевых цветках.

Шура давно уже уговаривала тетку сменить подушку на легкую, мягкую. Этим невесомым турецким добром, набитым меленькими синтетическими шариками, уже обзавелась каждая семья. Но Мила наотрез отказывалась – ни соображения удобства, ни гипотетические бельевые клещи ее не пугали.

– Мать моя в нее плакала! И я буду! – сердилась она и впрямь принималась рыдать, вспоминая ушедшее в прошлое столетие детство и своих давно сгинувших родных: кого войной съело, кого государством или болезнями. Шура видела теткину семью на фотографиях – тающие, прячущиеся в теплом тумане лица с нездешними глазами и пушистыми прическами. Все Милины родственники были кудрявыми: и мужчины, и женщины, и сама Мила всю жизнь сражалась с непослушными, мелко пушащимися прядками.

Семейные снимки тоже жили под ее подушкой, в альбоме зеленого бархата, аккуратно подписанные и заправленные в прорези на картонных страницах. Чернила бледнели, глубже впитывались в картон, но еще можно было разобрать имена и фамилии, даты и города – все забытое, потерянное, не нужное никому.

Мила появлялась в альбоме ближе к последним страницам: сначала младенцем, потом девчонкой с острыми коленками, а затем взрослой девушкой, по тогдашней фотографической моде кокетливо тянущей к лицу цветущие ветки. Шура всегда любовалась молодым теткиным лицом: щеки круглые, нежные, и лоб невинный, под воздушным облаком светлых волос. Мила угомонилась, улеглась, выпростав руки поверх одеяла и по-старушечьи вздыхая.

– Беги, беги, – повторила она, – завтра еще попишем, поторопиться бы надо.

На самом деле тетка совсем не была старой. Ей лишь недавно исполнилось шестьдесят, а сил и бодрости в ее крепком теле оставалось в избытке. Отпраздновав юбилей и покинув замшелый коллектив полузаброшенного дамского ателье, Мила постепенно тронулась умом – то ли от никогда не виданного безделья, то ли под воздействием многочисленных газет и журналов о духовном поиске и иных мирах. Этими литературными изданиями на плохой бумаге, призывавшими людей прозреть и присоединиться к энергетическим потокам, Мила увлеклась еще в конце девяностых, когда на душе было особенно пусто и темно. Бессмысленные тексты, яркие картинки с космическими пейзажами и огромными руками, держащими планеты в горсти, – журнальная муть эзотерических вод нарушила хрупкое теткино сознание, и без того омраченное семейными бедами, собственным одиночеством и страшной, но изо всех сил скрываемой нищетой.

Сумасшествие Милино вышло неопасное – с таким, в общем-то, и к врачам не идут. Несколько смущаясь, тетка сообщила, что стала теперь небесным проводником и будет писать книгу для несчастных, утонувших в незнании землян. Милина религия с трудом поддавалась идентификации: карма в ней мирно соседствовала с Христом, а волны энергии распределялись по планете архангелами – крылатыми, но при этом еще и многорукими.

Впрочем, вникать в суть этого красочного бреда было некому – Шура тогда еще жила с мамой, подруг у Милы не водилось, а проповедовать на улице она боялась. Но ценность обретенного знания не давала Миле покоя. Так и пришла она к мысли о книге, способной озарить и спасти жизни глупых, несчастных, темных людей.

Первые пятнадцать тетрадей Мила исписала сама и останавливаться не собиралась. Но притормозить пришлось: обострился артрит, мучивший ее еще в годы работы швеей. Милина сестра – Шурина мама – помогать отказалась наотрез, и Шуре, до слез стыдившейся тетки и до слез же любившей ее, пришлось брать судьбу человечества в свои руки. Мила плакала, благодарила и клялась – пара недель диктовок, не больше.

С тех пор прошло пять лет – исписанные тетради множились, разум к Миле не возвращался, Шурина мама умерла, а сама Шура поселилась у тетки в крохотной двухкомнатной квартирке, выходившей окнами на центральную улицу города. И днем и ночью мимо дома неслась городская жизнь: плотно прижатые к асфальту автомобили, сверкающие серебром мотоциклы, шумные до боли, быстрые до смерти. Шура слушала дрожание стекол и думала о себе, много думала.

***

Быстро темнело. Продрогнув на остановке, Шура с радостью увидела долгожданный автобус, светящийся изнутри ласково и желто. Поднявшись по облитым безнадежной осенней грязью ступенькам, она сняла рюкзак с плеча и пробралась к задним сиденьям сквозь путаницу чужих ног, сумок и голосов. Уселась, перевела дыхание и вдруг, будто кипятком, обожглась знакомым лицом. Аркашка сидел напротив, закрыв глаза.

Белые проводки наушников, как всегда, перепутанные междусобой, прятались под светлыми волосами, отправляли в его прекрасную голову музыку, перемешивались с неизвестными Шуре мыслями. Хотя, что тут неизвестного. «Знаю, все знаю», – подумала Шура и, как всегда, захотела плакать. Потом толкнула Аркашку коленкой – раз. И еще раз. Он приоткрыл глаза, прищурился:

– О, Шурка, – и вытащил один наушник. Протянул его Шуре и снова закрыл глаза. Проводок был коротковат, и ей пришлось наклониться вперед. Неудобно, но зато, зато! Целых двадцать минут они смогут быть чем-то целым, пусть соединенным лишь тонкой пластиковой ниткой и пунктирами звуков.

– Как хорошо, что мы встретились, правда? – спросила она Аркашу позже, когда они вышли на нужной им остановке и пошли рядом по изломанному полотну асфальтовой дорожки.

Он молчал.

– Мне страшновато все-таки одной поздно ходить, фонари не горят, всегда темно, – упрямо продолжала она.

Аркашка снова ничего не ответил.

– Даже юбку никогда не надеваю, все джинсы, джинсы, – в отчаянии сказала Шура, – а с тобой я бы в самом коротком платье пошла, и мне было бы не страшно.

Ей было ужасно стыдно от своих слов, а Аркашка молчал и молчал. Она почти со слезами заглянула в его лицо и только тут заметила, что он снова в наушниках. И когда успел нацепить, непонятно.

Асфальтовая дорожка кончилась, сменилась гравийной, а потом и узкой земляной тропинкой, ведущей к старой пятиэтажке, потерявшей свою непрочную штукатурную корочку еще лет тридцать назад.

Шура раньше всегда удивлялась, как это Катька умудряется выбираться отсюда в город такой сияющей, словно бы свежевымытой. Это ж уму непостижимо, каждый день по грязи до остановки, а гляди ты, вся сверкает, и даже туфельки чистые, не ободранные. Впрочем, потом Шура углядела в Катькиной сумочке пакетик с медицинскими бахилами, и все стало ясно.

Катька вообще многое пыталась скрывать, но получалось у нее неважно. Вот и сейчас, поднявшись на второй этаж к двери ее квартиры, Шура услышала Катькин крик:

– Да ты всю жизнь мне портишь! Пошла ты со своими коробками! Сама принесла, сама и уноси!

Катькина мать, сухонькая, коротко стриженная женщина, очень хотела счастья. Счастье же, напротив, ее никак не хотело и пряталось от нее очень старательно и упрямо. Мужья рядом не задерживались, работы терялись, здоровье подводило – всю жизнь она страдала от пренеприятных женских болезней, частичного облысения и крошащихся, как мел, зубов. Но самой главной ее проблемой был неисправимый оптимизм: отчего-то эта женщина, прожившая полвека в ободранной хрущевке, познавшая все ужасы советской, а затем и российской бесплатной гинекологии, никогда не евшая вкусно и не высыпавшаяся досыта, всегда верила в чудо.

Сейчас ее спасительной мечтой была косметика, распространяемая по каталогам и обещающая своим покупательницам не только мгновенную и неувядаемую красоту, но и стремительное обогащение.

По утрам Катькина мать старательно красилась, покрывая сухую, в мелких морщинках кожу густым тональным кремом, накладывая румяна и тени, помаду и тушь. Взбодрившись пролистыванием каталога и привычно полюбовавшись выглаженными моделями (одна – в сверкающей ванне, другая – на солнечном семейном пикнике, третья – перед первым свиданием), Катькина мать паковала сумки, взбиралась на каблуки и устремлялась вперед.

Поскольку марафет наводился в полутьме, а волшебная косметика на деле была редкостной гадостью, при ярком свете дня лицо Катькиной матери выглядело несколько устрашающе. Но она не теряла энтузиазма и бегала вприпрыжку по этажам офисных зданий, заглядывая в кабинеты и заманчиво потряхивая

образцами товаров, каталогами, сувенирами и прочей дребеденью. Офисные труженицы испуганно отмахивались, но, сраженные напором или, скорее, испуганные внешностью посетительницы, иногда покупали что-нибудь мелкое, вроде лака или заколки.

Катька наотрез отказывалась присоединиться к маме на этом многотрудном пути к финансовому благополучию. Яркие каталоги с твердыми гарантиями счастья ее тоже не привлекали: она была красавицей и без специальных отвлекающих приемов. Однако мать настаивала, и каждый вечер крохотная квартирка на самом краю города сотрясалась от ссор.

– Опять орут, – констатировал Аркашка, вынув, наконец, наушники. – Подольше звони, Шурка, а то не услышат. В паузе между криками Шура нажала на кнопку звонка и в который раз подумала: «Зачем я сюда пришла?» Дверь открыла Катька, еще не отдышавшаяся после крика, закатила глаза при виде гостей, но шагнула назад, вроде как разрешая войти. Аркашка был влюблен в Катьку так сильно, что терял всякий человеческий облик в ее присутствии. Шура любила Аркашку – до остановки дыхания и мерцающего сознания. А Катька вроде как никого не любила, она мечтала просто выбраться отсюда куда-нибудь подальше, чтобы не видеть никогда зассанной маминым котом ванной, выцветшего линолеума, веревок с сохнущими тряпками – всего этого тихого, тусклого, вечного жизненного добра.

– Шурочка, загляни потом ко мне, – крикнула Катькина мать из кухни, стараясь сделать радостный голос, – поступление чудесных лаков!

– Хорошо, – ответила Шура куда-то в глубину узкого коридора, – обязательно.

– Ну как ты, Кать? – спросил Аркаша, и голос его вдруг стал похож на желе.

– А тебе какое дело, а? – ответила Катька.

– Да я так, просто спросил, слышу, что ругались вы, – смутился Аркаша.

– А нечего подслушивать! – Катька явно была раздражена до предела. – И вообще, скажите мне, чего вы пришли, а? Вчера приходили и сегодня, и на той неделе таскались! Я вам что, развлечение, что ли?

Катька остановилась перед своей комнатой и повернулась к гостям.

– Идите отсюда, вот что! Надоели! Как вы мне все надоели! Видеть вас не хочу, никого, никогда! – поразительное дело, но Катька оставалась красавицей, даже когда кричала.

Шура пожала плечами и пошла обратно. Аркашка плелся следом.

– Шурочка, Шурочка, подожди! – Катькина мать стремительно выскочила из темноты, укутанная в облако отвратительно-сладких духов, и сунула Шуре в руку маленькую твердую коробочку.

– Как сможешь, рассчитаешься!

А потом вытолкнула Шуру и Аркашу на площадку и захлопнула дверь.

Домой Шуре возвращаться не хотелось. Было не слишком поздно, Мила наверняка не спала и вполне могла решиться на еще один сеанс диктовки и записи. Аркашка мялся у подъезда с таким лицом, словно не мог выбрать, пойти ли ему улечься у Катькиной квартиры вместо коврика или бежать отсюда со всех ног в неведомом направлении, оглашая темнеющие окрестности плачем и стенаниями. Постояв минутку, он вроде пришел в себя, посмотрел на Шуру и неуверенно улыбнулся:

– Едем обратно?

В автобусе Аркашка забился в угол и опять закрыл глаза. Наушниками с Шурой делиться не стал. А Шура все смотрела в его лицо и думала: хоть бы на минутку стать Катькой, хоть бы на секундочку. Потом вдруг вспомнила про коробочку – до сих пор сжимала ее в кулаке – и открыла, основательно поборовшись со скотчем и клеем. Внутри был лак – ядовито-розовый, с блестками.

Перед своей остановкой Шура коснулась Аркашкиной руки, чтобы попрощаться, но он вдруг схватил ее за рукав и спросил:

– Ко мне пойдешь? У меня родители уехали.

Шура кивнула.

У Аркаши в гостях она еще не была ни разу. Знала, что живет он с родителями недалеко от центра города в хорошей новостройке. И вообще, жизнь у него вся была хорошая, устроенная. Шуре такое и не снилось. Ни сумасшедшей родни, ни нищеты. Если бы он не встретил Катьку, так и жил бы себе спокойненько, по писаному. Раз в год – в отпуск всей семьей, дни рождения в кафе, мама улыбается по утрам, папа руку жмет

– молодец, сынок, весь в меня. Нахватавшись по отрывочным Аркашкиным рассказам представления о чужой жизни, Шура рисовала себе светлые, солнечные картинки, страшно далекие, недоступные ей никогда. Больше всего отчего-то впечатляли ежегодные поездки к морю. Эта никогда не виданная Шурой диковина представлялась ей чем-то огромным, мягким, сияющим, как плавленое золото. Ей так и хотелось сказать Аркашке: «Эх ты, ты же море видел! Что тебе эта Катька?» Хотя Катька и была как море. Даже Шура это понимала, какая она была прекрасная.

Аркашка убежал на кухню ставить чайник: замерз ужасно, ведь одет вечно кое-как: курточка, кедики и никаких шапок. А Шура, затаив дыхание, стояла в его комнате, оглядывалась кругом и удивлялась: точно, как в рекламном каталоге, шторы к ковру подобраны, а шкафчики – к кровати. Картинки висят. Зеркало большое, как для девчонки. Шура подошла к оправленному в тонкую стальную рамку зеркальному полотну и внимательно вгляделась в свое отражение. А ведь что такого в этой Катьке невероятного: нос, губы, глаза – все, как у всех. Волосы длинные, ну так их отрастить можно. Правда, Катька даже двигалась как-то по-особенному, так, что не поймешь, то ли танцует, то ли идет просто. Шура попыталась повторить плавные Катькины повороты, выпятила губы, изогнула спину и вытянула шею, отчего стала похожа на пухленького, но очень грустного гусенка.

– Ты чего кривляешься тут? Живот, что ли, болит? – Аркашка вошел в комнату и засмеялся. – Забавная ты, Шурка! Пойдем на кухню.

За чаем Аркашка стал серьезным, задумался. Бултыхал, бултыхал ложкой в кружке, а потом решился:

– Шурка, мне тебе кое-что сказать надо. Ты и не знаешь, я никому еще не говорил, но, кажется, я очень Катю люблю. Наверное, даже и не кажется. Точно люблю.

Шура мысленно закатила глаза, как Катька при виде незваных гостей, но вслух удивилась:

– Да ты что? Правда? Никогда бы не подумала.

Аркашка повеселел:

– Ну да! А зачем, по-твоему, я каждый день таскаюсь в ту дыру? Думаешь, мне так нравится с тобой по автобусам болтаться?

Шура ничего не ответила, но внутри у нее стало гулко и пусто, как в ночной подворотне.

– Я вот что, Шур, хочу у тебя попросить, – продолжил Аркашка. – Ты же вроде как друг мне, да? Не ходи пока к Кате, а? Я один хочу к ней прийти, вдруг она захочет меня выслушать, как думаешь? Она, наверное, сегодня распсиховалась из-за тебя, а если бы я один пришел, все было бы по-другому. Ты не ходи пока, я прошу тебя. Ну что тебе стоит? Дома посиди, погуляй там, с другими подружками повстречайся, туда-сюда.

Шурка слушала смущенное Аркашкино бормотание вполуха, как далекое радио, которое шумит где-то там, за пределами видимости, старается для никого. Отчего-то вспомнились ей сегодняшние утренние мысли – потешные такие. Она проснулась и стала вдруг думать про японского императора. Недавно по телевизору показывали, как он с женой под цветущими деревьями прогуливался. Маленький такой, аккуратный, худенький. И жена такая же, в шляпке. Они были похожи на фарфоровых куколок и почему-то взволновали Шуру почти до слез своей хрупкостью и улыбками. И вот она утром думала, как хорошо было бы, если бы Аркашка был японский император, а она – его жена. Чтобы они прожили вместе уже полвека, и никаких не было бы неразрешимых проблем: ни ледяных автобусов, ни Катьки этой, ни Милы с ее тетрадками, ничего – только лепестки, старость, тишина.

Ей вдруг стало совершенно все равно. Императором Аркашка не будет, попрется завтра к Катьке, получит от нее по полной и станет безнадежный совсем – Шура очень хорошо представила его опрокинутое лицо. А может, и наоборот получится. Вдруг Катька только и ждет его одного, без липучей подружки? И ей настолько стало все равно, что она отодвинула чашку и сказала:

– Ладно. Не буду к Катьке ездить. Вот поцелуешь меня – вообще ни разу у нее не появлюсь.

Аркашка от неожиданности чуть не поперхнулся:

– В смысле – поцелуешь? Ты чего, Шурка?

– В прямом. Поцелуй меня по-настоящему, и я уйду, не буду тебе мешать. И к Катькиному дому даже близко не подойду.

– Ну, хорошо, – растерянно пробормотал Аркашка. – Давай так.

Он встал, и Шура поднялась со стула. Подошла к нему близко-близко, так, что его удивленные глаза стали огромными, на весь мир. Потом прижалась губами к его губам и долго, целых три секунды, совершенно ни о чем не думала. А потом ушла, как и обещала.

***

...А про любовь архангелы вот что говорят: когда человек любит, его кровь становится сладкой и тягучей, как мед. От того, что кровь сладкая и густая, человеку дышать становится тяжело, и он пугается даже сначала. Но пугаться тут нечего: любовь никому вреда причинить не может. Архангел одной рукой человеку любовь протягивает, второй – радость, третьей – терпение, а четвертой – надежду. А человек часто только одно берет, а другого не замечает. Вот и мучается потом, чувствует, что не хватает чего-то, а поздно. Еще раз таких подарков уже не получить, как ни старайся...

Мила закрыла глаза и помолчала, а потом вздохнула:

– Ты беги, Шурочка, тебе к подружке, видать, надо. Беги, а то неделю уж дома сидишь. А я устала чего-то.

– Нет, теть Мил. Я дома сегодня буду. И завтра, наверное, тоже, – ответила Шура и покосилась в угол теткиной комнаты. Там стоял красочный плакат, сооруженный Милой из подручных материалов – лоскутков старых тканей, кальки и длиннющей линейки закройщика. На плакате Мила, применив все свои портновские навыки, постаралась изобразить лик – чей уж, только ее душе ведомо. Образ получился странный: яркие губы, румянец, синие веки. Лоскутное лицо чем-то смахивало на Катькину мать, и от этого Шуре было совсем неуютно. Завтра Мила собиралась идти к людям – она вдруг решила, что ее писательство делу спасения мира помогает слабо, планировала расположиться со своим плакатом возле местного супермаркета, а там уже и преподнести народу все, в чем он, болезный, нуждается.

Думать о завтрашнем дне Шуре не хотелось – лучше сделать вид, что он никогда не наступит, и просто остаться дома, в мягкой тишине маленьких темных комнат. Чаю попить, на улицу посмотреть: на бегущие во все стороны огни, на прозрачные золотые окна в доме напротив. Завтра Шуре придется пойти к супермаркету вместе с теткой. Удержать ту дома не было никакой возможности, а отпускать одну – страшно.

Шура пыталась представить себе, чем может закончиться подобная проповедь. Милицией? «Скорой»? Побиением камнями? Равнодушие, пришедшее к ней после Аркашиного признания, не собиралось уходить, и даже память о самом первом, самом сказочном поцелуе, полученном в обмен на расставание, уже не грела ее сердце.

Вечер казался вечным – темнота владела небом, улицей, домом, и даже всегда раздраженные мотоциклисты отменили на сегодня свои бесконечные бега. Мила уснула, крепко обняв каменную подушку и охраняя спрятанные под ней сокровища. А потом у Шуры кончился чай и конфеты кончились, а утро – началось.

***

У супермаркета всегда играет музыка. В любую погоду: и в дождь, и в солнце. Бодренькие, никому не известные мелодии, вроде как стимулирующие на немедленное и очень полезное приобретение. Утренние посетители вяло плетутся за будущим блаженством, еще помня вчерашнюю, подаренную телевизорной рекламой надежду: начни день с покупки и будь уже, наконец, счастлив, дурачок. В магазине тепло и светло, и здесь назначаются встречи, совершаются мелкие сделки и греются замерзшие влюбленные, которым осенним утром совершенно некуда податься.

Мила экипировалась по полной: пакеты с мелко исписанными тетрадками, теплый платок для согрева и плакат с неизвестным религиоведам ликом. Вручив пакеты Шуре, Мила укуталась поплотнее – утро выдалось на редкость зябкое, выпрямилась во весь свой незначительный рост и начала говорить:

– А больше всего оберегаться надо от жестокости – не может она быть главной в человеческом сознании. Архангелы грустят над этой человечьей выдумкой – естественным отбором. Глупости это, заблуждение. Не может борьба и победа над слабым быть самой важной в человеческой жизни. Внутри у человека такая хрупкость, такая нежность, что-то вроде перышка или одуванчика. Ну не может появиться в людях такая вещь только потому, что когда-то кто-то кого-то победил, или убил, или унизил по-всякому.

Мила говорила тихо. Никто ее не слышал – даже

Шура, сидевшая на скамейке совсем рядом с теткой. Люди шли мимо, мельком косились на очередную полоумную – в большом городе таких пруд пруди, на всех и взглядов не напасешься. Магазинная музыка заиграла еще громче, двери гостеприимно сдвигались и раздвигались, как прозрачные ненасытные челюсти. Мила бормотала что-то все быстрее, и со стороны казалось, что она просто подпевает беспечным музыкальным мотивам.

– Шурочка! Ты чего здесь? Ждешь кого-то?

Шура даже вздрогнула от неожиданного, как всегда деланно веселого голоса. Катькина мать стояла рядом и растягивала в улыбке ярко раскрашенные губы.

– Нет. Я с теткой, – ответила Шура и кивнула в сторону плавно размахивающей плакатом Милы. Врать и оправдываться не хотелось – пусть видит.

– А-а, – коротко протянула Катькина мать, – дочка говорила, что родственница у тебя того... странная. Она поставила свои тяжелые сумки на скамейку около Шуры и подошла поближе к Миле, а та продолжала свой еле слышный разговор:

– ...А у нас как получается? У человека вроде как задача поставлена: стать сильнее, чтобы больше трудностей вынести. А чем сильнее человек, тем больше трудностей и борьбы у него, словно бы специально. И он борется, старается и потом даже радость от этого начинает получать – от победы над ближним. Только сама по себе борьба – это жестокость. И еще вот что: неразумные считают, если какое-то свойство человеку не нужно, то оно само по себе отваливается, вроде хвоста. Так отчего тогда не отвалились сострадание, сочувствие, жалость? Они ведь только мешают, если ты в естественном отборе участвуешь, выживаешь. Почему нежность в людях осталась, смущение или раскаяние?

Катькина мать слушала Милу внимательно, и лицо ее, обычно удерживаемое усилием воли в выражении фальшивого восторга, расслаблялось, смягчалось и словно бы сползало вниз.

–...Архангелы жалеют неразумных, потому что нет жестокости в изначальном человеке. Будьте, как свет, жалейте друг друга. Ведь даже архангелы не помогут, если в сердце, кроме зла, ничего не растет. Будете тратить свою жизнь на бессмысленный бег вперед, будете топтать ближнего – прибежите в пустоту. И любви не жалейте, не пугайтесь, берите ее всю, вместе со всем, что к ней приложено: боль так боль, страдание так страдание.

Катькина мать подошла к Миле совсем близко, взяла из ее рук плакат и подняла повыше, чтобы всем было видно. Она кивала головой и чуть приплясывала на месте то ли от холода, то ли от радости. К неожиданным проповедницам, отодвигая прохожих, уже направлялись четверо охранников супермаркета: полнотелые, ленивые, предвкушающие развлечение.

Шура встала, потом снова села, чувствуя себя совершенно беспомощной и бесполезной. Охранники почти ласково подхватили женщин под руки и увели внутрь магазина, в самую глубину непрерывно работающих челюстей-дверей. И тут только Шура заметила парочку, стоявшую неподалеку и внимательно наблюдающую за происходящим. Аркаша и Катя держались за руки. Точнее, врастали ладонями друг в друга, как молодые деревья, по недосмотру садовника посаженные слишком близко и теперь переплетающиеся ветвями, корнями и всем, чем вообще можно переплестись.

Постояв минутку, глядя на Шуру с благодарностью и стыдом, они отвернулись от нее и ушли – подальше от навязчивой музыки, магазинной толпы, сумок с косметической дрянью и тетрадок, плотно набитых словами о счастье и нелегком пути к нему. ■